

Сергей Шаргунов

Сергей Шаргунов

СВОИ

Проза



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА СУЧЕНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ш25

Художник — Андрей Рыбаков

Фотография автора — Молли Глотт-Родькина

Шаргунов, Сергей Александрович.

Ш25 Свой : повесть, рассказы / Сергей Шаргунов. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. — 345, [7] с. — (Проза Сергея Шаргунова).

ISBN 978-5-17-106771-7

Сергей Шаргунов — писатель, автор биографии В.П. Катаева в серии «ЖЗЛ», романов «1993», «Книга без фотографий», «Ура!», «Малыш наказан», «Птичий грипп». Лауреат премии «Большая книга», финалист премии «Национальный бестселлер».

Новый сборник «Свой» — это проза очень личная. О родных, о любви, о памяти. О русской глубинке и далекой чужбине. Свои — образы, мысли, люди. От знаменитых предков автора до его маленького сына. От статиста из телевизионной массовки до одиночки, стерегущего в тайге взлетную полосу. И даже наглый депутат-толстяк и робкая северокорейская официантка. Все — свои. Потому что всех жалко.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-106771-7

© Шаргунов С.А., 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Содержание

ТЕРРОР ПАМЯТИ	7
ПРАВДА И ЛОЖКА	12
МОЙ БАТЮШКА	99
ЗАМОЛК СКВОРЕЧНИК	120
УКОЛ В СЕРДЦЕ	151
ПОПОВИЧИ	155
ТЕПЛАЯ ТАЙНА	172
САХАР НА РАНУ	177
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО СССР	194
«МНЕ ПОЧЕМУ-ТО ПРИПОМНИЛАСЬ ТЫ...»	204
ТЫ — МОЯ НАХОДКА	208
«В ЗООПАРК ПОЙДЕМ МЫ ВМЕСТЕ...»	220
УТИНЫЕ СЕРДЕЧКИ	231
ЧЕЛОВЕК ИЗ МАССОВКИ	256
АУСВАЙС	270
РУССКИЕ НА РУИНАХ	282
ПОЛОСА	290
СВОЙ	296
ПРИГВОЖДЕННЫЙ	315
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ	331

ТЕРРОР ПАМЯТИ

Дико устроена память. Что-то кажется мелким и неважным, а ты всё равно возвращаешься к этому драгоценно мерцающему сору.

В моем владении много людей — живых и мертвых, много драматичных сцен и никчемных сценок. Чья-то фраза, не обязательно ошеломительная, какая-то ситуация, не обязательно знаменательная... Где же это было? В том давно не существующем кафе у Чистых прудов (и память высвечивает выпивох за соседним столиком), в вагоне метро на перегоне от «Спортивной» к «Университету» (вижу пассажира напротив — на кого же он похож? на моего деда, которого я не знал?). Всё отчетливо, как в кино. Память может истолочь в прах вчерашний день, но вдруг всплывает дальняя даль — и уже от тебя не отстает. Помнить всё — звуки, запахи, цвет, общий план, топографию случая! Какое это мучительное и радостное сумасшествие!

Зачем-то записалось в голове: девочка Юля, май, легкий хмель, выходим из подъезда дома на Фрунзенской набережной, сорванная мною сирень, впереди женщина с красной коляской, обгоняем, идем в парк Мандельштама за Комсомольским проспектом, где встречаем нашего одноклассника, он выгуливает пса. Юля на поскрипывающих качелях. Вспоминаем вчерашний с ней разговор на перемене, ее «йес, сэр», и она, смеясь, говорит, что это из фильма, там британский солдат так отвечал, прежде чем палить из пушки; смеркается, бежим через проспект обратно, ползет троллейбус; обнявшись, движемся в сторону магазина «Русский лен», темный дворик, ее губы, она говорит, что боится вон того пьяного...

Я понимаю, если бы остался сухой отчет: гулял и целовался. Но зачем железный скрип, шорох шага, огни, которые обострила темень, встречные-поперечные, неразличимый пьяный шатко переходит двор, хватаясь за деревья, шум машин, долетающий до поцелуя?.. Зачем помнить ерунду?

Память расфасовывает события по ящичкам, и на коробке шестнадцатилетнего мая намалевано: романтика-взросление. Память — наставница. Она насыщает тебя приметам реальности, и, поскольку многое повторяется, ты действуешь на автомате, а это и есть зрелость. Ты уже знаешь, как все должно быть, точно дичь, видевшая охотничье дуло. Память примиряет с уходом и одновременно отсылает в бесследно пропавшее прошлое, игриво суля бессмертие.

Она обещает: ангел вострубит, и мертвые вскочат, соединяясь, обрастая плотью. А бывшие исчез-

нувшие дни вдруг встанут одним цветущим великаном, кадр за кадром, жилка к жилке.

...Я был в храме с синими маковками у священника Александра Меня за неделю до его убийства, мне было десять. Перед исповедью, прохаживаясь, он говорил: «Жизнь — это мост. На улицах нас ждут убийцы», — сделал паузу, он погладил меня в толпе и сказал: «Машины». Исповедь, склоненная голова с темными волнами волос, он приглашал ходить к нему чаще, но почему-то не благословил, не осенил пальцами, хотя я и просил (возможно, реформистски считал это лишним).

Или генерал Лев Рохлин в буфете глотает водку из стакана и щурится, заметив, что с обратной стороны донца прилипла раздавленная городская оса.

Или журналист Юрий Щекочихин звонит и приглашает в Рязань, где его, как считается, и отравят, я говорю, что не получится, прижимая плечом к уху переносную трубку, по комнате плывет пыль, и черная кошка ослепительно зевает, как будто разломали сахарный арбузик.

Или певец Игорь Тальков, чьи щеки щетинисты, а рот приоткрыт в безмолвном пении, лежит в гробу, и кто-то из темной очереди вдруг начинает тихо насвистывать в такт этой мертвой песне.

Помню первое перестроечное шествие по Крымскому мосту, где смешались все флаги и эмблемы, и румяный анархист в кожаных сапогах азартно агитирует, словно торгуется на рынке.

Или вечер 1990-го: сырой палаточный городок напротив Кремля и копошится на коленях среди картонок женщина с родинкой в пол-лица. Память,

говори, ори, пиши, распевай! Расклевай мозг! От женщины нежно, но крепко пахло ванилью.

Есть, есть магия в этой химии памяти.

Мне три года. Стою в шубке на верхней ступени в «Кулинарию». Красный кирпич, серый воздух, мороз, сугробы. Внизу мама и ее подруга. Внезапное озарение: все пройдет, все уже случилось, внятное чувство бренности, парад лет проходит передо мной, словно я попал в поток облаков. Бывает порыв к самоубийству, но бывает безотчетное суицидальное состояние. Иногда выкуришь сигаретку — ипустишь в себя это состояние. Мое первое состояние физиологической тоски (смесь самоотречения и высокомерия) случилось в три, на оледеневшей верхней ступеньке при входе в советскую кулинарию.

Через пять лет на эти ступени рухнул, сломав козырек, балкон и убил двух женщин. Через шесть лет, в 89-м, я встретил в кулинарии свою учительницу труда. Яркоглазая, в кофте с блестками. Незадолго до этого на уроке труда она споткнулась о чей-то ранец и упала в проходе. Она неуклюже поднималась, усаживалась на стул, тяжело, сбивчиво дышала, слепо выпучив яркие глаза, не видя обомлевшего класса. Когда она упала, у меня было желание подскочить и помочь ей. Но я сидел, застыв. И теперь мы столкнулись в кулинарии. «Сереженька, — произнесла она. — Ты единственный, кто помог мне, когда я упала», — вот что она должна была сказать, и губы уже шевельнулись, и в эту секунду и я открылся навстречу этим словам. Но что-то щелкнуло в механизме времени, мы существовали в том измерении, где я остался сидеть за партой, не помог. Раз-

очарованные, отрезвев, мы отступили друг от друга посреди этой кулинарии, но в другой кулинарии, в другом измерении, другие мы говорили по-другому: «Я всегда помню твой поступок. Никогда не забуду, как...» — «Ну что вы, Зоя Филипповна!» — «Ты молодец, настоящий человек...»

Нет, Зоя Филипповна, я не встал, вы самостоятельно вставали, я остался сидеть за партой с девочкой Юлей, чтобы через восемь лет целоваться с ней, когда вы уже умрете. Ветку сирени Юля выкинула под колеса троллейбуса, кокетка. Какой был номер у того троллейбуса? 28?

О, Боже, зачем мне это?

ПРАВДА И ЛОЖКА

Моей жене Анастасии Толстой

— Алло, алло, Сережа! У нас пожар! — голос отца громок и напорист.

Чувствую: само по себе, как чужое, гулко сотрясается сердце.

И вот уже бегу с работы, по коридорам и этажам, напролом и наугад.

Прыгаю в такси на углу. Прошу — быстрее.

— С праздником, — говорит водитель и, обождав, со смешком поясняет: — День огурца. По радио передали.

Погода и впрямь праздничная: машины сверкают бликами и вязнут, кажется, не просто в пробке, а в горячей и яркой небесной синеве.

Мы продвигаемся под милый треп диджеев и веселые песенки, я прошу выключить, потому что зво-

ню маме, таксист выключает, но напрасно, звоню папе, та же хрень, длинные гудки.

Красный светофор. Слишком долгий красный. Спускаю стекло, выставляю лицо под солнце, закрываю глаза, лоб наливается жаром, сквозь веки трепещет алый огонь.

Ну наконец на месте.

Въезд во двор серой восьмиэтажки закрывает красно-белая полиэтиленовая лента, натянутая от кривого тополя до водосточной трубы в тугом ожидании, когда ее перережут.

— Спасибо за поездку и хорошего дня, — чеканит рулевой.

Вылезаю, и взгляд устремляется к небесам: верхние два этажа обожжены, полный мрак до самой крыши.

На нашем седьмом этаже голый, без стекол, оплавленный балкон.

Словно бы дракон налетел идохнул... Первобытный ужас, как будто за этой дырой не квартира, а пещера.

Поднимаю праздничную ленту над головой и быстро прохожу — мимо красивой пожарной машины и зевак — в открытый подъезд.

За порогом — огромная лужа, по ступеням текут пенные потоки, лифт не работает, бегу вверх навстречу сбегаящей воде.

Лестница жизни. На ней курил и целовался. В этом доме я жил двадцать лет. Я здесь уже не живу, но бываю постоянно. Второй этаж. Здесь младенческий чепчик, первые стихи и снимки, пегаля собачонка с пластмассой глаз и... Третий этаж. ... Отцов иконостас, пожелтевшая гимнастерка суворовца

с красными погонами, подрясник, эпитрахиль... богослужебные книги в деревянных обложках, покрытых телячьей кожей, а у мамы... у мамы настоящий этюд Врубеля, картины русских авангардистов, ее рисунки... этажерка, козетка, зеркало... во всю стену до потолка в бронзовой раме... в его венецианское стекло смотрелась моя пра, быстрее, праба, через ступеньку, а еще, еще рывок, одна удивительная серебряная ло...

Седьмой. Задыхаюсь. На входе в квартиру — широкая спина с кислородным баллоном. Жирно воняет гарью. Иду мимо черной комнаты, где дворники в оранжевых жилетах споро выжимают тряпки в ведра, дальше, на кухню — на родные голоса.

Так и есть: отец и мама за столом, в небесной синеве, у окна нараспашку. Обнимаю, прижимаюсь, оглядываю. Кажется, они помолодели. У них счастливый вид и разговор наперебой.

— Слава Богу, — это отец. — Я думал, вся квартира сгорит. Началось с балкона. Разбили окно и что-то кинули.

— Если б нас не было дома, все бы и сгорело. И соседи могли сгореть. Пожарные молодцы, сразу приехали, — это мама. — Минута-другая — мы бы не выбрались. Комната моя, конечно, плоха...

— Но не пошло дальше, — веско говорит отец. — Иконы я вынести успел.

— А картины пропали, — добавляет мама.

— Кто это мог сделать и как? — спрашиваю, и мы молчим.

— Мы многое не знаем, — говорит отец негромко, — и часа своего не знаем тоже, — на его щеке след сажи.

Осторожно вступаем в ту самую комнату, откуда дворники уже вынесли ведра. Комната страха. Черный потолок с черной люстрой. На черных стенах спекшиеся картины. Высокое черное зеркало. Ровная пелена копоти. Под копотью — молниевидная трещина. Провожу пальцем, рисуя параллельную линию.

Возле оконного провала на черной этажерке вижу деревянную иконку Сергия Радонежского. Жива. Касаюсь, пытаюсь взять, но она ни в какую, теплая, крепко приваренная. Краска скукожилась, а все же лик различим.

— Ты хоть пообедать успел? — тревожно спрашивает мама.

Оборачиваюсь.

Над обугленной постелью — черный квадрат.

Это был фотопортрет мореплавателя, моего предка.

Что пропало, того не вернешь.

Фамилия Русанов — от прозвища Русан. Так в древности называли человека с русыми волосами.

По другой версии, такое прозвание означало попросту — русский.

В 1591 году Борис Годунов частью покарал, частью прогнал из Углича в Орел эту боярскую семью.

За что? За то, что подняли народ на поминальный бунт, до отчаяния опечаленные гибелью любимого отрока, царевича Димитрия.

Они его любили и ему одному служить желали.

Вызов чести и непокорности видится мне в позднейшем романтически-рыцарском гербе Русановых.